

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Илья Ильф
Евгений Петров
**ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ**



Остап Бендер

Илья Ильф

Двенадцать стульев

Издательство «Детская литература»

1928

УДК 821.161.1-313.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ильф И.

Двенадцать стульев / И. Ильф — Издательство «Детская литература», 1928 — (Остап Бендер)

ISBN 978-5-08-005583-6

Знаменитый сатирический роман конца 20-х годов прошлого века. В центре его – образ Остапа Бендера, обаятельного жулика, авантюриста, натуры артистической и независимой, с великолепным чувством юмора. По ходу сюжета, в погоне за бриллиантами, герой вольно или невольно становится разоблачителем многих уродливых явлений жизни и быта Страны Советов. Перед читателями проходит обширная галерея ярких сатирических персонажей: бюрократов, взяточников, демагогов, приспособленцев, которые во множестве расплодились в России времен нэпа. Для среднего и старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-313.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-005583-6

© Ильф И., 1928
© Издательство «Детская литература», 1928

Содержание

| | |
|-------------------------------------|----|
| Смех Ильфа и Петрова[1] | 6 |
| Часть первая. Старгородский лев | 19 |
| Глава I. Безенчук и «нимфы» | 19 |
| Глава II. Кончина мадам Петуховой | 25 |
| Глава III. «Зерцало грешного» | 30 |
| Глава IV. Муза дальних странствий | 35 |
| Глава V. Прошлое регистратора ЗАГСа | 38 |
| Глава VI. Великий комбинатор | 48 |
| Глава VII. Брильянтовый дым | 54 |
| Глава VIII. Следы «Титаника» | 60 |
| Глава IX. Голубой воришка | 63 |
| Глава X. Где ваши локоны? | 70 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 72 |

Илья Ильф, Евгений Петров

Двенадцать стульев

© Галанов Б. Е., вступительная статья, комментарии, 1994

© Капнинский А. И., иллюстрации, 2016

© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2016

Смех Ильфа и Петрова¹

В январе 1928 года два молодых писателя, Илья Ильф и Евгений Петров, чинно сидя в извозчицкой пролетке, везли рукопись только что законченного романа. Это были «Двенадцать стульев». Шел снег. Все было именно так, как они себе представляли, работая над романом. Печатные знаки, вплоть до точек и запятых, были уже подсчитаны и пересчитаны. Не было только ощущения свободы и легкости, которая сопутствует окончанию трудной работы. Оба испытывали тревогу. Напечатают ли роман? Понравится ли? А если напечатают и понравится? Очевидно, нужно писать новый. Или попробовать повесть?

«Мы думали, что это конец труда, – вспоминал Петров, – но это было только начало». Вопросы, терзавшие Ильфа и Петрова в тот день, тревожили их всегда, хотя читатели веселых и вроде бы без малейших усилий написанных книг вряд ли об этом догадывались. Казалось, все сочинялось легко и шутки ложились на лист бумаги сами собой, как вольная, веселая импровизация.

В истории русской и мировой юмористической литературы Ильф и Петров – в числе самых веселых, как говорили в старину, сочинителей. Даже в эпоху культа личности, в героическую эпоху котлованов и подъемных кранов, когда требовались другие песни – бодрые марши, гимны, оды, кантаты, – Ильф и Петров сохраняли верность призванию сатириков. Искренне веруя в идеи социализма, они могли принимать мифы за реальность, обольщаться пропагандистскими лозунгами, на которые не скупился сталинский режим, все это было, было... Не они одни поддавались иллюзиям, присягая на верность социалистической идее. Однако много ли найдется таких печальных произведений, как «Записные книжки» Ильфа, оставшиеся после его смерти?

Более шестидесяти лет назад, еще школьником, раскрыв первое издание «Двенадцати стульев», я прочитал простую и старомодную, по выражению Ильфа, первую фразу романа: «В уездном городе N...», которая так долго не давалась соавторам. Для миллионов читателей, как и для меня, с этой фразы началось знакомство с творчеством двух писателей.

Шли годы сталинских пятилеток и сталинских лагерей, годы войны и послевоенного восстановления, хрущевского волюнтаризма, брежневского застоя, годы перестройки. Менялись вожди на трибуне Мавзолея. Менялись в дни знаменательных дат портреты в руках демонстрантов. Менялись и сами знаменательные даты, сбивали мемориальные доски, сносили памятники. Исчезали из обихода слова, которые прочно вросли в строй и быт, обозначали стиль нашей жизни. Теперь без словаря многие из них и не растолковать. Но слава Ильфа и Петрова не уменьшилась. Бессмертный Ипполит Матвеевич по-прежнему шествует по утрам на службу по улицам города N.

На известной фотографии Ильфа и Петрова соавторы с перьями в руках сидят перед чернильницей – мир да согласие царят за столом. Как они вместе работали, думали, сочиняли, останется тайной их содружества. Но неужели действительно всегда вместе? За одним столом, возле одной чернильницы? Невероятно!

От докучливых расспросов интервьюеров Ильф и Петров обычно отшучивались: «Да, так вот и пишем... Как братья Гонкуры. Эдмонд бегаёт по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые». Но после смерти Ильфа, оставшись один, Петров ответил всерьез: «Писать вдвоем было не вдвое легче, а в десять раз труднее...»

Их родиной была Одесса. Красивый шумный южный портовый город. Жители называли его то маленьким Парижем, то маленькой Веной, а золотые пляжи и живописные приморские

¹ Текст статьи печатается по изданию: Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: в 5 т. М.: Худож. лит., 1994. Т. 1. (Статья печатается в сокращении. – Примеч. ред.)

окрестности сравнивали с венецианским Лидо. Литературная Одесса подарила нам созвездие замечательных писателей. Помимо Ильфа и Петрова одесситами были Бабель, Катаев, Олеша, Багрицкий... При абсолютной несхожести писательских дарований, всем им было присуще острое ощущение возможностей слова, многокрасочности жизни, стереоскопичность зрения.

Появление в советской литературе 1920-х годов большой группы писателей-одесситов, сразу же заявивших о себе, не осталось незамеченным. Заговорили о новой литературной школе, закрепив за ней – по названию сборника стихов Эдуарда Багрицкого «Юго-Запад» – имя «Юго-западной», «Южно-русской». Сами одесские писатели о «школе» и не помышляли. Но суровые поборники чистоты советской литературы и пролетарского ее происхождения твердо стояли на своем. В словах «Юго-Запад» они делали ударение на слове «Запад», что само по себе для членов «школы» было небезопасно: к Западу относились подозрительно. С влиянием Запада, как тлетворным, неустанно боролись, а писателям-одесситам клеили ярлыки «низкопоклонников перед Западом» и наперебой твердили: «Не русские это писатели, не пролетарские»; «традиции средиземноморской культуры им ближе». Поистине нужно было прикинуться глухими, чтобы не услышать в их книгах говор, шутки и смех одесской улицы...

Но мы нарушаем хронологию... «Двенадцать стульев» еще не написаны. Не спорят и о «Юго-западной школе». Пока будущие авторы романа «Двенадцать стульев» встречаются в Москве, в редакции железнодорожной газеты «Гудок».

Ильф пришел туда в 1923 году и участвовал в составлении знаменитой сатирической четвертой полосы, для которой и обрабатывал читательские письма, придавая им фельетонный блеск и отточенность, и сочинял сам. Петров стал москвичом двумя годами позже, а до этого работал инспектором Одесского уголовного розыска, вылавливал казнокрадов, налетчиков, самогонщиков, ежедневно рискуя получить в лоб бандитскую пулю. В Москве с легкой руки старшего брата Валентина Катаева стал писать смешные рассказы и фельетоны, уже тогда выделявшиеся из общего потока если не глубиной сатирического отклика, то остротой комической реакции, наблюдательностью, неподдельным юмором и неистощимой фантазией.

Веселая игра воображения увлекала Петрова. Ильф предпочитал полету юмористической фантазии непосредственные свидетельства очевидца, зоркость сатирических наблюдений – смешных, грустных, а чаще смешных и грустных одновременно. Среди множества тем, занимавших Ильфа, была одна особая – кино. Это было его увлечение. Он писал остроумные рецензии, юмористические репортажи из киностудий (эти зарисовки позже пригодятся при работе над романами). После редакционной командировки в Среднюю Азию Ильф напишет несколько превосходных очерков, где все очень ощутимо – люди, пейзаж, быт, нравы – и с первых же строк пробивается сильная лирическая интонация.

И все-таки большую часть времени как у Ильфа, так и у Петрова отнимала газетная поденщина. Это было и трудно, и забавно. В комнате четвертой полосы собирались самые отчаянные остряки. Острили непрерывно. Сотрудники других отделов, опасаясь колючих насмешек, даже побаивались сюда заглядывать. Все становилось предметом веселых обсуждений! Катаев однажды развеселил редакционную братию предложением создать мастерскую советского романа, открыть набор негров в нее, а на себя возложил роль Дюма-пéра². Была даже готова идея первого романа – поиски сокровищ, запрятанных в стулья. Все посмеялись и разошлись. Но Ильфу и Петрову эта идея понравилась. Петров позже подробно расскажет, как тяжело складывались «Двенадцать стульев», как соавторы отнесли первые главы своего детища на суд Валентину Катаеву. Не очень-то надеясь на собственные силы, они рассчитывали, что Дюма-пер пройдет по книге рукой мастера.

В «Алмазном моем венце» Катаев вспоминал, что, прочитав рукопись, он сказал молодым писателям примерно следующее:

² Дюма-пер – Дюма-отец (от фр. père – «отец», «родитель»).

«„Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я уступаю. Ваш Остап Бендер (которого не было в первоначальных планах. – Б. Г.) меня доконал. Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя... Вашему пока еще не дописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но и мировая слава”.

Соавторы скромно потупили глаза, – продолжает Катаев, – однако мне не поверили. Они тогда еще не подозревали, что я обладаю пророческим даром».

А Дюма-пер действительно оказался пророком.

Ильфу не было тридцати. Петрову едва исполнилось двадцать четыре. Но первая же совместная книга сделала их знаменитыми. И хотя долгое время критики старались роман не замечать, он пришел к читающей публике через головы критиков. Книгу читали и перечитывали. Имя Остапа Бендера стало нарицательным. Скрестив классические традиции плутовского романа с озорным юмором капустников, с остротами весельчаков четвертой полосы «Гудка», Ильф и Петров сформировали собственный стиль, собственную манеру комического повествования. Они привнесли в роман вольность анекдота, забавность розыгрыша, насмешливость пародии.

Именно в комнате четвертой полосы впервые были произнесены будущие любимые словечки и выражения Остапа, оттуда перекочевали в роман, из романа – в обиходную речь и начали странствовать по стране как раскавыченные цитаты. И портреты некоторых персонажей «Двенадцати стульев» написаны тоже «почти» с натуры. Им приданы черты общих знакомцев Ильфа и Петрова³.

Иногда сходство могло быть относительным. Иногда очень даже близким. Валентин Катаев засвидетельствовал, что все персонажи романа «Двенадцать стульев» «списаны» с натуры, со знакомых и друзей («один даже с меня самого»). Что касается Остапа Бендера, то Катаев вспоминал старого одесского знакомого. В жизни тот носил другую фамилию, но имя Остап сохранилось как весьма редкое. Соавторы оставили его почти в полной неприкосновенности – атлетическое телосложение и романтический, чисто черноморский характер. Впрочем, существуют и другие версии. В разное время назывались имена еще нескольких прототипов Остапа. Портрет Авессалома Изнуренкова так сильно смахивал на приятеля Ильфа и Петрова, сотрудника московских сатирических журналов, что они сочли нужным предварительно заручиться визой – согласием оригинала. Поэта-халтурщика Никифора Ляписа, творца печально знаменитой «Гаврилиады» и напористого завсегдатая газеты «Станок», сотрудники «Гудка» тоже хорошо знали в лицо. Только имя изменилось. «Так вот и получается, – писал сослуживец сатириков по «Гудку» М. Львов (Штих), – что один глаз видит Никифора Ляписа, а в другом мелькает его живой прототип». Но ведь Ляпис, людоедка Эллочка и прочие легко узнаваемые персонажи «Двенадцати стульев» – это, как говорится, еще и фигуры «на все времена». Художественно-обобщенные, типические. И разумеется, Остап Бендер в первую очередь. Не моментальные фотографии или торопливые зарисовки. Манила даль свободного романа. Брали у одного, прибавляли к другому. Складывали, комбинировали, обобщали.

«Голубой воришка» Альхен, которого Остап обманул так же ловко и весело, как и других своих «клиентов», – типическая фигура стяжателя. Прототип не назван, но в жизни им несть числа... Не воровать Альхен не может. Альхен не просто воришка, он «воришка голубой», то есть застенчивый. Тянет все, что попадет под руку, только тянет стыдливо, густо краснея. Смешно? Даже очень. Нашлась отличная сатирическая деталь. И страшноватая. Завхоз командует подопечными старухами-пенсионерками как ему заблагорассудится. Но всегда с выгодой для себя.

³ Поклонники писателей однажды даже прислали мне персоналию подозреваемых прототипов романа, расшифровав около двух десятков имен.

В масштабах надвинувшейся на страну жестокой и бездуховной казарменно-бюрократической системы 2-й дом райсобеса всего лишь крохотная точка. Сколько таких «домов» возникало под разными вывесками! Давно все вывезено и распродано. Есть нечего. Зато более чем скромное жильё украшено наставлениями о вкусной и здоровой пище, напоминаниями о том, что «мясо – вредно».

Трудно придумать что-либо более фарисейское, чем порядки, заведенные Альхеном. Но фарисейство – примета казарменного быта. И страсть Альхена – хитроумные замки и запоры на всех дверях – тоже злая насмешка, обретающая с дистанции времени обобщающий смысл.

Предполагать, что Альхен явился в роман с единственной целью обслужить Остапа, сыграть с ним свою партию «в поддавки» – значило бы недооценить значения сатиры Ильфа и Петрова, свести дело к анекдоту, к простому курьезу «вор у вора дубинку украл».

Не один только Альхен, но и все другие эпизодические персонажи романа, включая заговорщиков из эфемерного тайного «Союза меча и орала», этих без пяти минут опереточных путчистов, интересны как определенные социальные и психологические типы. Иногда эпизодические персонажи меняются местами с Остапом, и тогда уже Остап выполняет вспомогательную задачу. Но не в ущерб движению рассказа. Главная роль достается Остапу или второстепенная, в конечном счете все нити интриги держит в кулаке он, обеспечивая движение сюжета, его непрерывность.

С того момента, когда в романе появился Остап в своих знаменитых лаковых штиблетах и с астролябией в руке, читательский интерес к нему не ослабевает. Авторам все труднее было без него обойтись. А к концу романа Ильф и Петров уже обращались с Бендером как с живым человеком. Петров признавался, что они часто даже сердились на него за нахальство, с которым тот пролезал в каждую главу. Но кто бы другой так изобретательно вертел колесо романа? Не Воробьянинов же. «Гигант мысли» может произвести впечатление разве что на деятелей карикатурного «Союза меча и орала», да и то с подачи Остапа.

В планах авторов Бендеру первоначально предназначалась эпизодическая роль. Но тот смешал карты. Все укрупнилось, приобрело новое звучание, и по мере развертывания сюжета Остап стал компаньоном, концессионером, коммерческим директором; полущутливо-полусерьезно авторы преподнесли ему титул великого комбинатора и... турецкое подданство.

Коренные одесситы, Ильф и Петров помнили, конечно, что люди, уклонявшиеся в Одессе от воинской повинности, покупали иностранное гражданство. Великий комбинатор стал Остапом-Сулейманом-Берта-Мария Бендером, потому что турецкий паспорт стоил дешевле других. Так что тайна турецкого подданства объяснялась вполне прозаически. Великим же комбинатором Остап смог стать потому, что действовал среди комбинаторов мелких, «в краю непуганых идиотов».

Критиков романа, по-своему старавшихся истолковать и принизить феномен странной для советской литературы личности Остапа Бендера, не устраивало отношение авторов к своему герою. Плут и жулик действует в романе как некий катализатор, выводит на чистую воду других плутов и жуликов. А их при советской власти, по свидетельству романистов, набиралось великое множество. «Ну разве это не очернительство?!» – восклицали критики.

Больше того, Ильф и Петров наделили Остапа умом, изобретательностью, сообразительностью, передоверили собственный взгляд на вещи, свои мысли, наблюдения и – о боже! – не покидающий героя даже в самых экстремальных ситуациях великолепный юмор, сокровище не менее драгоценное, чем бриллианты мадам Петуховой.

«Куда же такое годится?» – снова и снова вопрошали литературные прокуроры. Противопоставить бы Остапу настоящего положительного героя, ему подарить авторский юмор, а самого Остапа сделать грубее, примитивнее; вот тогда, пророчествовали критики, роман получился бы настоящим, советским, идеологически выдержанным. И читатель знал бы, что имеет дело с разновидностью враждебного государству анархического индивидуализма. А так, чего

доброе, только запутают читателей. Один поклонник Остапа даже специально обращался к Ильфу и Петрову с просьбой пристроить куда-нибудь своего героя. Такому человеку, с такой энергией, нужно дать дело.

Взглянем на Остапа непредвзято, без модных когда-то вульгарных критических выговоров. Остап – натура артистическая, независимая. Не умещается он в равняющем все по ранжиру обществе, где личность мало уважают, еще меньше ценят и где утвердить свою индивидуальность нелегко, даже опасно. Может быть, этим Остап и приглянулся Ильфу и Петрову? Для него ведь и деньги скорее средство самоутверждения, выявления себя как личности. Можно ли представить, что, завладев сокровищами, Остап захочет, как отец Федор, обзавестись собственным свечным заводиком, возле которого будет попивать водочку? Не скрывая иронии, авторы описывают затеи Остапа, слишком фантастические, вроде плана ограбления Голубого Нила плотиной, чтобы принять их всерьез. Но, согласитесь, это в характере Остапа. Не меньше самих бриллиантов его занимает процесс их добывания. Остапу интересно играть роль в им же сочиненной пьесе. Как театральному режиссеру, поставившему талантливый спектакль со множеством переодеваний и перевоплощений – то в красноречивого шахматного маэстро, то в сурового инспектора пожарной охраны, то в гвардейского офицера «при особе, приближенной к императору», – Остапу всякий раз тоже мерещатся поклонницы и аплодисменты.

На фоне тусклой, угрюмой действительности самоутверждалась энергичная, яркая личность. Плут-то Остап плут. И изрядный. Но он же – человек кипучей энергии и предприимчивости, вольный или невольный разоблачитель многих уродливых явлений быта, мещан, обывателей, бюрократов, взяточников. Писатели проявили настоящую художественную зрелость, когда, поддавшись натиску своего беспокойного героя, помогли ему проявить качества, которые выводили читательское отношение к нему на новый виток.

Почти одновременно с завершением в журнале «30 дней» публикации «Двенадцати стульев» журнал «Огонёк» объявил новую повесть Ильфа и Петрова – «Светлая личность». В «Двенадцати стульях» пародийно разыгрывались традиционные приключения искателей кладов, в «огоньковской» повести – смешная, в отличие от некогда драматически рассказанной Уэллсом, история человека-невидимки. «Светлая личность» при жизни авторов не переиздавалась. Возможно, повесть не удовлетворила самих авторов, хотя некоторые ее страницы по остроте сатирического обличения и неподдельной веселости не уступают «Двенадцати стульям». А может быть, именно эта острота и помешала дальнейшим публикациям. Описывая город Пищеслав со всеми уродливыми и анекдотическими его чертами, присущими провинциальному советскому быту, авторы признавались, что город этот был ужасным, что в его существование трудно было даже поверить, «но он все-таки существовал, и отмахнуться от этого было невозможно».

<...>

«Мы знали с детства, что такое труд», – написал однажды Петров, и, как бы трудно ни было писать, Ильф и Петров не позволяли себе передышки. «На таких бы сотрудников набрасываться. Пишите побольше, почему не пишете? Так нет же. Держат равнение. Лениво приглашают. Делают вид, что даже не особенно нуждаются». Это из записных книжек Ильфа. Равнодушное, бюрократическое отношение к авторам во многих редакциях отталкивало. Нужно было появиться новому сатирическому журналу «Чудак», чтобы почувствовались перемены. Его основателем и редактором в 1928 году стал Михаил Кольцов. Это было талантливое издание, из-за своей критической направленности сразу же попавшее в немилость. «Чудак» продержался около двух лет. Но за эти два года Кольцов сколотил коллектив ярких авторов. Список наиболее известных открывал В. Маяковский, среди дебютантов были А. Твардовский, М. Исаковский, Н. Заболоцкий.

Ильфу и Петрову Кольцов щедро предоставлял страницы журнала. От него можно было услышать слова, которые так хотелось услышать Ильфу: «Пишите больше, почему не

пишете?..» И они писали. Много писали. Случалось даже, в одном номере дважды. Под собственными фамилиями и под псевдонимами. В разделе с хлестким названием «Деньги обратно!» горячий, шумливый, задорный Дон Бузилио честил халтуру в кино, театре, на эстраде. Ф. Толстоевский, более умудренный жизненным опытом и более свирепый в своих обличениях, сосредоточивался на бытовых темах. Под этим псевдонимом Ильф и Петров напечатали в «Чудаке» «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» (1928–1929) и цикл сатирических сказок «1001 день, или Новая Шахерезада» (1929). «Колоколамские истории» в какой-то степени можно даже назвать программной вещью «Чудака», который сразу же при своем появлении объявил поход на «непуганых идиотов» – их нравы, привычки, косность, корыстолюбие.

<...>

Однако чувство неудовлетворенности не оставляло Ильфа и Петрова. Чуть ли не скороговоркой завершилась «Светлая личность». Недописанными остались «Шахерезада» и «колоколамские» рассказы. Был начат и отложен роман «Великий комбинатор». Дальше краткого либретто не продвинулось обозрение «Путешествие в неведомую страну», героем которого Ильф и Петров собирались сделать некоего маститого академика. Для повести «Летучий голландец» – из жизни редакции одной профсоюзной газеты – сохранились лишь предварительные заготовки. Не наступил ли творческий спад?

Но о каком спаде можно было говорить? Ильф и Петров находились в расцвете сил и таланта. Просто талант страшился самоповторений и проторенных дорожек. А новое нащупывалось с трудом.

«Мы чувствуем, – говорил Петров, – что нужно писать что-то другое. Но что?»

В ту пору, когда начинался «Золотой теленок», в очередной раз заявили о себе «упразднители» сатиры и юмора. В критике разгорелись шумные баталии. «Упразднители» требовали изъять сатиру и юмор из литературы как чуждые пролетариату, изжившие себя и вообще вредные социалистическому обществу, поскольку наше героическое время не дает оснований для смеха. Ильф и Петров, чьи имена не раз трепали в критических перебранках, вмешались в полемику, предварив «Золотого теленка» диалогом с неким строгим гражданином.

«– Смеяться грешно, – говорил он. – Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!»

– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода».

Шел 1931 год. Пока еще можно было отстаивать сатиру и юмор, спорить со строгим гражданином, высмеивать его абсурдные рассуждения. Можно было ответить лаконично, в стиле Бернарда Шоу: «Не будьте идиотом». В таком примерно духе Ильф с Петровым и ответили, а в заключение обратились к прокурору республики с просьбой: если строгий гражданин снова будет уныло твердить, что сатира не должна быть смешной, привлечь его к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. И хотя все время, пока сочинялся «Золотой теленок», над писателями реял лик строгого гражданина, они не отrekliсь от права на смешную сатиру.

Но есть в новом романе и новые краски. В «Золотом теленке» явственнее, чем в «Двенадцати стульях», звучит лирическая мелодия, лиризм здесь чаще становится спутником смеха, и веселый неунывающий плут Остап, оказывается, умеет и грустить.

Генеалогию Остапа прослеживали не раз. У него есть предшественники и соседи в произведениях советских писателей: авантюрист бухгалтер Прохоров из знаменитого «дорожного» романа Валентина Катаева «Растратчики», устремляющийся в неудержимый бег по градам и весям; Олег Баян в «Клопе» Маяковского, устроитель «красных, трудовых бракосочетаний», учащий молодоженов танцевать первый фокстрот после свадьбы; проходимец Аметистов из «Зойкиной квартиры» Булгакова.

<...>

Можно продолжить аналогии, и все же Остап – это Остап. Если в чем-то на кого-то и похожий, то в главном всегда неповторимый. Плуты Маяковского или Булгакова проще, грубее, вульгарнее. И не потому, что написаны не в полную силу таланта. Лицо каждого отчетливо закрепилось в памяти. Но художники ставили перед собой другие цели и краски выбирали соответствующие. Остап же – нравилось или не нравилось это критикам Ильфа и Петрова – артистичен, талантлив, находчив в своих плутовских проделках. В «Двенадцати стульях» погоня за сокровищами превратилась для него в своеобразное действо. Мы уже говорили, что при случае он не прочь был блеснуть высоким искусством обмана и розыгрыша. В «Золотом теленке» все это осталось при нем. Но если в «Двенадцати стульях» Остап еще довольно смутно представлял себе, как распорядиться бриллиантами, то теперь знает. Теперь это для него вопрос жизни. При первой же встрече с Шурой Балагановым он прямо говорит: «У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»

И это, в сущности, уже было началом конца традиций плутовского романа, которые Ильф и Петров обновили и одновременно исчерпали. По крайней мере для себя.

Выиграв битву с Корейко, Остап все-таки оказывается в проигрыше. Бедный плут! Корейко прочно укоренился в советском обществе, врос в его быт. Он точно знает, когда надо прикинуться «тихим советским мышонком», когда схорониться, и ждет момента, когда можно будет снова безбоязненно всплыть на поверхность со своими миллионами. Корейко – воплощение самых темных торгашеских сил, и, когда рядом с «медальным профилем» великого комбинатора вдруг вылезает это «белоглазое ветчинное рыло», эта «молодецкая харя с сева-стопольскими полубакаками», мы понимаем, что сатирики бьют наотмашь, что, следуя «агитационному уклону» Маяковского, они с первых же слов прямо указывают, кто здесь сволочь.

Неблагодарное для критика занятие – пророчествовать и пытаться предсказать возможную судьбу литературного героя лет эдак через сорок – пятьдесят. Но Корейко без натяжек легко представить «крестным отцом» какой-нибудь сегодняшней торговой мафии. Остапу с его запасом в четыреста способов сравнительно честного отъема денег тягаться с Корейко на этом поприще не под силу. Да он бы и не стал. Дух стяжательства претит Остапу. Он вдруг понял, что обладать миллионом куда хлопотней, чем пустым карманом. «Частному лицу» даже с миллионом не развернуться. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» – высокопарно восклицал Остап. А ничего-то и не тронулось. Индивидууму, которому чужды проблемы социалистической перedelки человека, в СССР ходу нет.

В условиях рыночной экономики кооператор, предприниматель, пенсионер, живущий за чертой бедности, знают, как распорядиться миллионом. В далекие 1920 – 1930-е годы Остап этого не знал, если не собирался пойти путем Корейко. Люди жили трудно, бедно, в условиях всеобщей нищенской «уравниловки». На что тратить деньги да и откуда их взять неумоимо вкалывающим строителям социализма? Но, по совести говоря, честная бедность общительных, веселых и голодных студентов политехникума, оказавшихся в одном купе с Остапом, симпатичнее спекулянтских замашек тех цепких, что прекрасно знают, почем нынче золотой теленок, готовых хапать и наживаться.

Во втором романе Ильфа и Петрова перед экипажем «Антилопы...», мчащейся из одного города в другой, мелькает целый калейдоскоп лиц. Тут и бюрократ Польшаев, начальник дутого, как мыльный пузырь, «Геркулеса», в недрах которого туго пришлось даже великому комбинатору и где привольно живет архижулику Корейко. Тут и обитатели «Вороньей слободки» – групповой портрет поднаторевших в квартирных склоках обывателей.

И как это часто случалось с персонажами Ильфа и Петрова, «геркулесовцы» и обитатели квартиры номер три в Лимонном переулке напомнили о себе в новых произведениях соавто-

ров, выступив под другими именами, в другом обличье, но сохранив свои манеры, повадки, хамство и невежество, дух склочничества, своекорыстие. Снова начав писать фельетоны, Ильф и Петров нашли место в хороводе разных мелких и крупных бесов и этим персонажам.

В начале 1930-х годов соавторы часто выступали с фельетонами в «Литературной газете», подписывая их новым псевдонимом «Холодный философ», и в «Правде» с фельетонами на бытовые темы, показывая, как говорил Ю. Олеша, высокий класс журнализма.

Все, что делалось Ильфом и Петровым в жанре фельетона, делалось ими в полную силу, безо всяких скидок на «газетность». Для них вообще не существовало деления на жанры высокие и низкие. Они создавали свою, новую, гофманиаду, не фантастическую, а совершенно конкретную, привязанную к определенным фамилиям, датам, адресам, простым житейским фактам, нередко почерпнутым из читательской почты. И очень огорчались, когда дружески расположенные к ним люди в недоумении разводили руками: писали бы романы; далась вам эта сиюминутность, эта злободневность!

<...>

Перечитывая сегодня фельетоны Ильфа и Петрова, заново убеждаешься в их злободневности и долговечности... По-прежнему омрачают жизнь угрюмые чиновники, дельцы, бюрократы, злобные дураки, ханжи с каменно-бездушными ухватками, безразличные к чужому горю и не интересующиеся ничем, кроме самих себя. Писать о таких людях «нестерпимо», «почти физически больно», говорили Ильф и Петров. Но борьбу с неуважением к людям, с оскорблением человеческого достоинства они считали своим гражданским, писательским долгом.

<...>

Уходило с годами бурное, безоглядное веселье «Двенадцати стульев». Свои фельетоны Ильф и Петров умели писать очень смешно. Смех не пропал. Но соавторы становились все строже, серьезнее, внутренне сосредоточенней. Друзья Ильфа и Петрова, близко знавшие обоих, запомнили их доброту, чуткость, отзывчивость, готовность помочь людям, ободрить, облегчить их жизнь. Но писатели не могли без гнева и негодования говорить о чиновнике, грубо, взашей, вытолкнувшем из своего кабинета старика-пенсионера; о дураке, запретившем прописать молодую женщину на жилой площади мужа, к которому она переехала после свадьбы из другого города; о хаме, отказавшемся уступить такси беременной женщине, которую срочно надо доставить в родильный дом. Как правило, такие подлецы получали в фельетонах не имена и фамилии, а нарицательные клички, которые к ним буквально прилипали: «Безмятежная тумба», «Костяная нога», «Саванарыло».

В 1936 году Ильф и Петров завершили последнюю свою большую совместную книгу «Одноэтажная Америка», книгу-очерк, книгу-репортаж, итог трехмесячного пребывания в Соединенных Штатах.

Отправляясь за океан, писатели не собирались отыскивать в американском образе жизни сплошь негативные черты и всё писать черными красками, как тогда было принято. Не надевали на глаза шоры. Все хорошее были готовы поддержать, искренне радовались доброжелательному отношению американцев к России и с готовностью отвечали дружбой на дружбу. Но подлаживаться в своих суждениях к американским представлениям, хвалить то, что было им не по душе, и тем самым завоевывать расположение хозяев Ильф и Петров также считали недостойным. Свою позицию они сформулировали в конце книги. Это как бы ключ к ее пониманию. «Американцы очень сердятся на европейцев, которые приезжают в Америку, пользуются ее гостеприимством, а потом ее ругают. Американцы часто с раздражением говорили нам об этом. Но нам непонятна такая постановка вопроса – ругать или хвалить. Америка – не премьеры новой пьесы, а мы – не театральные критики. Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране и наши мысли о ней».

<...>

После смерти Ильфа остались записные книжки. Ильф любил ходить, глазеть, записывать. Он называл себя зевакой. Но это был не обычный зевака, а внимательный, зоркий наблюдатель жизни. В записные книжки он заносил смешные реплики, неожиданный каламбур, удивительную фамилию, остроту, анекдот... А иногда страницы записной книжки становятся своеобразным лирическим дневником. Так складывалась книга поэтичная, веселая и глубоко печальная.

Свободные по форме записи могут показаться случайными, разрозненными. Но это только кажется. Как в каждой хорошей книге, тут есть свой постоянный сюжет, своя внутренняя логика, свой пафос – пафос целой жизни художника. Ненависть к пошлости, мещанству, хамству, свинскому, бездушному отношению к людям.

Ильф знал, что умирает. В присутствии Петрова он грустно шутил насчет шампанского марки «Их штербе» («Я умираю»), а однажды сказал, что видел сон, будто его съели туберкулезные палочки. Однако эти страшные предчувствия скрывал и в последних заметках только вскользь, глухо проговаривался о случившейся беде: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло». Даже последние записи, сделанные рукой умирающего человека, говорят о силе духа, не сломленного болезнью, о зрелости таланта и поразительном жизнелюбии.

Он высмеивал художника, который так нарисовал лису, что сразу стало понятно: моделью ему послужила горжетка жены. Моделью для Ильфа всегда служила живая натура, а не муляжи. Среди его записей много маленьких лирических акварелей, дышащих прелестью и очарованием. Скромная природа Подмосковья. Песок и сосны. Повалившийся забор выгнулся, как оперенье громадной птицы. Красноносая ледяная московская весна. Пышный пейзаж побережья Крыма. Цветут фиолетовые иудины деревья. «Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах».

«Все войдет, – обещал он самому себе, – и площадка перед четвертым корпусом, и шум вечно сыплющегося песка, и новый парапет, слишком большой для такой площадки, и туман, один день надвигающийся с моря, а другой с гор».

Но это уже никуда не вошло. Коротенькие, «как чеки», записи так и остались в блокнотах. Ильф умер 13 апреля 1937 года, умер молодым, не успев реализовать все, что накопил в последние годы для новых книг, не раскрыв до конца свой первоклассный лирический дар.

И вот настал день, который Ильф и Петров себе представляли и не могли представить. Уже не двое уселись перед пишущей машинкой, а только один.

Что же писал Петров, снова взявшись за перо? Оставшись без друга и соавтора, он как бы заново испытывал себя в различных жанрах. Делал наброски книги «Мой друг Ильф», написал комедию-памфлет «Остров мира» (воскресил традицию созданных когда-то с Ильфом сценариев кинокомедий «Барак», «Цирк», «Однажды летом»). Написал (в соавторстве с Г. Мунблитом) сценарии кинокомедий «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится», кинокомедию «Воздушный извозчик», энергично работал как фельетонист, очеркист, редактировал журнал «Огонёк».

Война заставила сменить самый образ жизни. Начальный ее период Петров провел на фронте в качестве военного корреспондента «Правды», «Красной звезды» и американского газетного агентства.

Он был под Москвой в дни поражений и побед, а в 1942 году, когда немцы готовились к «мурманскому прыжку», поехал на Кольский полуостров. Потом с берегов Баренцева моря помчался на другой конец гигантского фронта – к Черному морю, в Севастополь. Корреспонденции с трех театров войны – подмосковного, мурманского, севастопольского – составили три раздела его «Фронтového дневника», занявшего почетное место в литературе первых лет войны.

Военный корреспондент Петров погиб 2 июля 1942 года, возвращаясь из осажденного Севастополя, в авиационной катастрофе. Его полевая сумка была набита записями для будущих статей и очерков. Брат Петрова Валентин Катаев с горечью говорил:

«В самолете были люди. Многие уцелели. А Женя прошел в каюту летчика. В детстве он всегда любил стоять возле вагоновожатого в трамвае или возле рулевого на катере. Это осталось у него на всю жизнь».

Ильф и Петров избрали для себя нелегкий литературный жанр, самый гонимый и преследуемый тоталитарными режимами. Баловать сатиру вниманием не очень-то было принято. Ругали чаще, чем хвалили. «Двенадцать стульев» преднамеренно замалчивали. Долгое и упорное сопротивление пришлось преодолеть и при издании «Золотого тельца». Помогло вмешательство Максима Горького.

Если Ильфу и Петрову не пришлось, как Михаилу Зощенко, испытать в 1946 году трагическую судьбу отлученных от литературы писателей, так лишь потому, что к тому времени их уже не было в живых. Однако когда развернулась позорная травля Зощенко, задним числом вспомнили и ставшие уже классическими романы покойных авторов. Настало их время расплачиваться за веселый смех и сатиру, за великого комбинатора, которому, по меркам середины 1930-х, место было не в романах, а на стройке Беломоро-Балтийского канала. О «Двенадцати стульях» и «Золотом тельце» было сказано коротко и грозно: «Путешествие плутов по стране дураков». Пусть с запозданием, но приговор все же вынесли. Из библиотек изымали книги Ильфа и Петрова, а вышедшее после войны новое издание романов сочли «грубой ошибкой». Известный критик и литературовед, редактор книги Евгения Ковальчик, подписавшая ее в печать, получила партийное взыскание.

Задолго до этих дней Ильф и Петров очень часто с тревогой задумывались о положении литературы и литераторов в обществе, об отношении партийных функционеров к писателям как к людям подозрительным и неудобным. Писатели не станут писать лучше, с горечью предостерегали Ильф и Петров, если устроить «избиение литгуленотов, против некоторых фамилий поставить кресты, а затем учинить варфоломеевскую ночь с факелами и оргвыводами». Предостерегали, не представляя тогда размаха грядущей варфоломеевской ночи, масштабов развязанной сталинским режимом расправы.

Илья Эренбург запомнил слова, которые любил повторять Ильф: «Репертуар исчерпан» – или: «Ягода сходит». «Как теперь нам писать? – говорил он Эренбургу. – „Великие комбинаторы“ изъяты из обращения. Напишешь рассказ – сразу загалдят: „Обобщаете нетипичное явление, клевета“».

А ведь Ильфу и Петрову выпала не столь горькая судьба, как Зощенко, Кольцову, Эрману, Булгакову. В ту пору, когда начиналась их деятельность, паролем и лозунгом времени были слова партийного гимна: «Отречемся от старого мира...» Судя по тону официальных упреков, Ильф и Петров отрекались недостаточно энергично. Дворян, аристократов и всех бывших критиковали без должной классово-нетерпимости. Подумать только, Остап даже привязался к бывшему предводителю дворянства!..

Сегодня Ильфа и Петрова за обличение старого мира и насмешки над бывшими критикуют уже слева. «Кому сейчас охота смеяться над людьми, которых революция лишила дома и родины? – спрашивала уважаемая мной дама-критик в уважаемом московском издании. – Очень ли смешно, что „умственная“ интеллигенция, не принявшая режим, была обречена на вымирание или прозябание... Какие уж тут шутки?.. Насмешка, беспощадная до издевательства».

Если в компанию глупцов, окружающих Остапа, затесался глупый предводитель дворянства (не все предводители – Турбины и «умственные» интеллигенты), что прикажете делать

с ним сатирикам? К тому же не будем забывать: Воробьянинов не только смешон, он жаден, подл, умеет зло огрызаться и, как мы узнаём в конце романа, совершает убийство.

Время вносит неизбежные коррективы. Меняемся с годами мы, меняются наши понятия и представления. Не будем, однако, спешить с выговорами авторам умных, талантливых и таких живых романов.

В окаянные годы веселая муза Ильфа и Петрова ободряла, утешала, поддерживала, смешила, многое помогала увидеть иначе и в смехе обрести душевную опору. И не дай бог нынешним «прогрессистам», успевшим твердо усвоить, что такое хорошо и что такое плохо, безапелляционно рассуждать о заблуждениях Ильфа и Петрова. Время моды на «оргвыводы» миновало. Будем надеяться, проходит мода и на шумные, сенсационные разоблачения с обязательным наклеиванием ярлыков вроде: литераторы, «обслуживавшие режим» (это об Ильфе и Петрове-то!). Урон, нанесенный вразумлениями с «оргвыводами», в свое время был неисчислимым. Нужно ли начинать сызнова?

Ильф и Петров ушли из жизни, когда им, как одному, так и другому, еще не исполнилось сорока. Но книги сорокалетних, пережив свое вот уже шестидесятилетие, по-прежнему остаются в числе классических, самых любимых и столь нужных читателям в наши нелегкие дни.

Борис Галанов

Посвящается Валентину Петровичу Катаеву



Часть первая. Старгородский лев

Глава I. Безенчук и «нимфы»

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем*⁴ и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальщиков, что это мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулянсион* на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею, на большом пустыре, стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА «МИЛОСТИ ПРОСИМ»

Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он – вылитый Милюков*, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

⁴ Здесь и далее значение слов и выражений, помеченных знаком *, см. в комментариях в конце книги, с. 547–557. *Примеч. ред.*

– Бонжур! – пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели.

«Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года не шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый* пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще – Клавдии Ивановне.

– Эпполе-эт, – прогремела она, – сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением.

Клавдия Ивановна продолжала:

– Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.

– Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и отдельно сказал:

– Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце*, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того, – что было самым ужасным, – Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому.

У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.

– Почет дорогому гостю! – прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. – С добрым утром!

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную кастановую шляпу*.

– Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?

– Мр-мр-мр, – неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

– Ну, дай Бог здоровьечка! – с горечью сказал Безенчук. – Одних убытков сколько несем, туды его в качель! – И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.

– Здорова, здорова, – ответил Ипполит Матвеевич, – что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело – и уходи», показывали пять минут десятого.

Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Маццистом*, хотя у настоящего Мацциста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стол, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя: он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.

За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей – мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил*, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело – и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошептала с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

– Товарищ, – сказала она, – где тут...

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:

– Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

– Рождение? Смерть?

– Сочетаться, – повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся.

Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», – и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двойковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.

– Молодые люди, – заявил Ипполит Матвеевич выпренно, – позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно!

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы.

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбрелись по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клёкот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клёкот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полновзвучное чавканье. Старушку, пришедшую зарегистрировать внучонка, отогнали на середину площади.

Переписчик Сапежников начал досконально уже всем известный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от переписчика нельзя было добиться.

– Ну вот-с, – иронически сказал Ипполит Матвеевич, – вы только что изволили сказать, что «раздавили» эти самые две полбутылки... Ну а дальше что?

– Дальше? А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью... Ну вот. Преспорил мне на этом Григорий Васильевич «диговинку»... Ну и вот, «раздавили» мы «диговинку» и еще «соточкой» смочили. Так было дело.

Ипполит Матвеевич раздраженно хмыкнул:

– Ну а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью?

– Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него, бродяги, под соломой целый «гусь»* запрятан, четвертуха вина...

Сапежников захохотал, обнажив светлые десны.

– Вчетвером целого «гуся» одолели и легли спать, тем более – на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное... Ну, у меня «полшишки» нашлось. Выпили. Чувствуем – не хватает. Драманж! Баба «двадцатку» донесла. Была там в деревне колдовница такая – вином торгует...

– Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?

– А тогда ж и охотились... Что с Григорий Васильевичем делалось! Я, вы знаете, никогда не блюю... И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. «Не расходитесь, – говорит, – ребята. Я сейчас еще кой-чего доведу». Ну и довед, конечно. И все «сороковками» – других в «Молоте» не было. Даже собак напоили...

– А охота?! Охота! – закричали все.

– С пьяными собаками какая же охота? – обижаясь, сказал Сапежников.

– М-мальчишка! – прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу. Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке и в тулупе с косматым воротником. Под мышкой он осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном холщовом переплете. Застенчиво стуча своими слоновыми сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца.

– Здорово, товарищ, – густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ. – Товарищ начальник до вас прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать.

Бумага была такого содержания:

«Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его регистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына – Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока. Замначальника умилиции Перервин»

Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более что ее никогда и не бывало) зарегистрировал дитя «умилиции».

От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел.

Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

– Почет дорогому гостю! – улыбнулся Ипполит Матвеевич. – Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

– Ну? – спросил Ипполит Матвеевич более строго.

– «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? – смутно молвил гробовой мастер. – Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб – он одного лесу сколько требует...

– Чего? – спросил Ипполит Матвеевич.

– Да вот «Нимфа»... Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я – фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб – огурчик, отборный, любительский...

– Ты что же это, с ума сошел? – кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. – Обалдеешь ты среди гробов.

Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

– Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

– Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

– Можно в кредит, – добавил Безенчук.

Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, непрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрал правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками:

– Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

– Я не стучу, – покорно ответил Ипполит Матвеевич. – Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:

– Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:

– Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю – дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее...

Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

Глава II. Кончина мадам Петуховой

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер»* и только начинали танцевать аргентинский танец «танго».

Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

– Клавдия Ивановна! – позвал Воробьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но, вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков, он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

– Клавдия Ивановна, – повторил Воробьянинов, – что с вами?

Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

– Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что – сходите в аптеку. Натяните квитанцию и узнайте, почему пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу.

Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

– Путаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «Бог дал, Бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонёк».

– Современная наука, – говорил Андрей Иванович, – дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, – не знаю, правда это или неправда, – на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

– Это ты, Андрей, малость перехватил...

– Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:

– Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей? Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и чёрт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич.

- Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.
- Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегаёт.
- А доктор что говорит?
- Что доктор! В стражкассе разве доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись:

- Теперь вся сила в гемоглобине.
- Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство.

Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день.

В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер.

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штiblетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

– Так как же прикажете, господин Воробьянинов? – спросил мастер, прижимая к груди картуз.

- Что ж, пожалуй, – угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.
- А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! – заволновался Безенчук.
- Да пошел ты к чёрту! Надоел!
- Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима?

Или как?

- Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходиться в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? – подумал Ипполит Матвеевич. – На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

- Ипполит, – прошептала она явственно, – садьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

– Ипполит, – повторила теща, – помните вы наш гостиный гарнитур?

– Какой? – спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

– Тот... Обитый английским ситцем...

– Ах, это в моем доме?

– Да, в Старгороде...

– Помню, отлично помню... Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагеротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

– В сиденье стула я зашила свои брильянты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

– Какие брильянты? – спросил он машинально, но тут же спохватился: – Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

– Я спрятала брильянты в стул, – упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

– Ваши брильянты! – закричал он, пугаясь силы своего голоса. – В стул! Кто вас надумил? Почему вы не дали их мне?

– Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? – спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

– Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала головой.

– Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

– Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! – закричал Ипполит Матвеевич полным голосом.

И, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменял по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

– Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирихонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол.

– Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!..

Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.

– Умирает, кажется!

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад.

Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натываясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты.

В голове Ипполита Матвеевича творилось чёрт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры непрерывно исполняли «танго-амапа́», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Много представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

– Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, – сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. – Гроб – он работу любит.

– Умерла Клавдия Ивановна, – сообщил заказчик.

– Ну, царствие небесное, – согласился Безенчук. – Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или Богу душу отдают – это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, – значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее – та, считается, Богу душу отдает...

– То есть как это считается? У кого это считается?

– У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

– Ну а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

– Я – человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут. – И строго добавил: – Мне дуба дать или сыграть в ящик – невозможно: у меня комплекция мелкая... А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда выпели спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях.

Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава!
Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..

– На свадьбе у Кольки, брандмейстера сына, гуляли, – равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. – Так неужто без газету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил всё. «Поеду, – решил он, – найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покойница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

– Чёрт с тобой! Делай! Газетовый! С кистями!

Глава III. «Зерцало грешного»

Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всеобщей ночи дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

– Новое дело затеял! Опять, как с Неркой, кончится.

Неркой звали суку, французского бульдога, которую отец Федор купил за двадцать рублей на Миусском рынке в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобелем секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям.

При виде собачки попадая ахнула и со всей твердостью заявила, что «конского завода» не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание Нерки началось. Еду собаке подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом – манная кашка, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст.

Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем уисполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства.

Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий заплата египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, взяв с собой три рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху.

Счастливый принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем.

Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Сажень в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка приносясь к основанию ближайшей тумбочки.

Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с нечистыми намерениями.

Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» – и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли

его были далеко. Отец Федор бросился спасать свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах.

Дома произошла большая тяжелая сцена, уснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство Нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии.

Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна лишь маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой, черный, пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразным хвостом рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздали. Нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также по утрам, дням и вечерам под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окно и жалобно подвывая.

Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее щенки из третьей серии (их было двенадцать) оказались вылитыми Марсиками и от визитов к уисполкомовскому медалисту заимствовали только кривые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому. Так распался «конский завод» и мечты о верном постоянном доходе.

Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Ивановичем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоился возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуги-молотовское». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенах, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная невероятным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадью, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготавливали жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесяч-

ный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.

Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины – Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пытая от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбегались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и възыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу.

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

– Дай мне, мать, ножницы поскорее, – быстро проговорил отец Федор.

– А ужин как же?

– Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду пели четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами – дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне.

Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:

– Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться. Матушка от удивления даже руки назад отвела.

– Что же ты над собой сделал? – вымолвила она наконец.

– Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось...

– Господи, – сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, – неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?*

Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.

– А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что – не люди?

– Люди, конечно, люди, – согласилась матушка ядовито, – как же, по иллюзиям ходят, алименты платят!..

– Ну и я по иллюзиям буду бегать.

– Бегай, пожалуйста.

– И буду бегать.

– Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.

– Никуда не пойду! – заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

– Не бросаю, – твердил отец Федор, – не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

– Не может, – говорила попадья.

Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой.

Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело» – и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», и мало ли что еще там было.

Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десятков – все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора.

Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.

– На хозяйство хватит, – решил он.

Глава IV. Муза дальних странствий

За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен, пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взорам всех мирян полосатые брюки.

Агент ОДТ ГПУ* медленно прошел по залу, утихомирив возникшую в очереди брань из-за места и занялся уловлением беспризорных, которые осмелились войти в зал I и II класса, играя на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава».

Кассир, суровый гражданин, долго возился с компостерами, пробивал на билете кружевные цифры и, к удивлению всей очереди, давал мелкую сдачу деньгами, а не благотворительными марками в пользу детей.

Посадка в бесплацикартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и, только впущенный наконец в вагон, вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

Интересная штука – полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забуддыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он – пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами.

Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

– «Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. „А Моня здесь?“ – еврей спрашивает еле-еле. „Здесь“. – „А тетя Врана пришла?“ – „Пришла“. – „А где бабушка? Я ее не вижу“. – „Вот она стоит“. – „А Исак?“ – „Исак тут“. – „А дети?“ – „Вот все дети“. – „Кто же в лавке остался?!“»

Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали!» – с трудом завладевает вниманием и начинает:

– «Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит: под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает: „Это ты, Джек?“ А Джек лизнул руку и отвечает: „Это я"».

Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда.

Интересная штука – полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь – путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сторбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый – К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал чёрт знает что такое.

Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса*, купленные вместо рубля за пять копеек.

На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, пятидесяти девяти лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил сорок один рубль отпускных и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице брандмейстера «крем Анго, против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брандмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, недостижимый в природе загар». Но в аптеке был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и клоповар – прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.

– Как вам нравится Шанхай?* – спросил Липа Ипполита Матвеевича. – Не хотел бы я теперь быть в этом сеттльменте.

– Англичане ж сволочи, – ответил Ипполит Матвеевич, – так им и надо. Они всегда Россию продавали.

Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря: «А кто Россию не продавал?» – и приступил к делу.

– Что вы хотели?

– Средство для волос.

– Для ращения, уничтожения, окраски?

– Какое там ращение! – сказал Ипполит Матвеевич. – Для окраски.

– Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.

Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.

– Они скоро всю Хэнань заберут, эти кантонцы, – сказал на прощанье Липа. – Сватоу, я знаю, а?

Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда.

Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.

Глава V. Прошлое регистратора ЗАГСа

На Масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества.

В четверг вечером в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах, шла грандиозная программа:

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ТРУППА ЖОНГЛЕРОВ

10 арабов!

Величайший феномен XX века Стэнс

Загадочно! Непостижимо! Чудовищно!!!

Стэнс – человек-загадка!

Поразительные испанские акробаты Инас!

Брезина – дива из парижского театра «Фоли-Бержер»!

Сестры Драфир и другие номера

Сестры Драфир – их было трое – метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад, и с волжским акцентом пели:

Пред вами мы, как птички,
Легко порхаем здесь,
Толпа нам рукоплещет,
Бомонд в восторге весь.

Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули что есть силы рефрен:

Мы порхаем,
Мы слёз не знаем,
Нас знает каждый всяк —
И умный и дурак.

Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества. Круги эти, представленные в кафешантане гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдейным купцом Ангеловым, сидевшим навеселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зеленая лента) по два рубля с персоны».

На столиках в особых стоечках из белого металла торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелой двоюродной сестрой.

Молодой человек еще раз перечел меню: «Судачки-попъёт. Жаркое – цыпленок. Малосольный огурец. Суфле-глясе «Жанна д'Арк». Шампанское Мумм (зеленая лента). Дамам – живые цветы». Сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громко опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выво-

дил старый лакей Петр, с негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать?! Они в карточке не обозначены: их цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: «Двоечник! Второгодник! Папе скажу! Будет тебе бенефис!»

Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина, с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим сбивала носком божественной ножки проволочное пенсне с носа партнера – бесцветного усатого господина.

Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя.

– Отдай всё – и мало! – кричал Ангелов страшным голосом.

Гласный городской думы Чарушников, ужаленный в самое сердце феей из «Фоли-Бержер», поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанское. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр заиграл туш.

В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор – первый обернувшийся ко входу – сперва закашлялся, а потом зааплодировал. В зал вошел известный мот и бонвиван*, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.

– Извините, ваше высокоблагородие, – дрожащим голосом говорил околоточный, – но по долгу службы...

Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь Ангелов.

– Голубчик! Ипполит Матвеевич! – закричал он. – Орел! Дай я тебя поцелую.

– По долгу службы, – неожиданно твердо вымолвил околоточный, – не позволяют правила!

– Что-с? – спросил Ипполит Матвеевич тенором. – Кто вы такой?

– Околоточный надзиратель шестого околотка, Садовой части, Юкин.

– Господин Юкин, – сказал Ипполит Матвеевич, – сходите к полицеймейстеру и доложите ему, что вы мне надоели. А теперь по долгу службы делайте что хотите.

И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший купец Ангелов.

Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: двадцать пять рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождения предводителя». Статьи была написана возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то – сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:

– Влиятельные лица!!!»

Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей» – и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским.

В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина Принца Датского прибыть в канцелярию градоначальника к четырем часам дня для объяснений. Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике.

Градоначальник с особенным удовольствием всматривался в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал:

– Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший одолеть к этому времени слова «ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ:

– Т-т-т-так я-же в-в-в-ообще з-аикаюсь!

Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила сто рублей штрафа и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.

Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде, в поместье своего отца, Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой Манькой обитал в отдельной благоустроенной голубятне.

На девятом году мальчика определили в подготовительный класс Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что кроме красивых и приятных вещей: пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы – есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами.

О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил: «Это Матвея Александровича сын... Очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту три, и бойкий мальчик был принят.

В Старгороде было две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали вражду к питомцам гимназии городской. Они называли их «карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем. За это, в свою очередь, они получили обидное прозвище «баклажан». Не один «карандаш» принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки мстительных «баклажан». Озлобленные «карандаши» устраивали на «баклажан»-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. «Баклажан»-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подьезде какого-нибудь дома, бледный, потерявший одну галошу. Взятая в плен галоша забрасывалась победителями на крышу трехэтажного дома, самого высокого в городе.

Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли «сапогами», но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению «баклажан», жизнь загадочную и даже легендарную.

Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам, с наляпанным по трафарету желтым александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами; но лишенный, по воле отца, возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела.

В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то, перед самыми экзаменами, во время большой перемены три гимназиста забрались в актовый зал и долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бомбошками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом, Ипполит и третий гимназист, Пыхтеев-Какуев, чуть не умерли от смеха.

– А фикус ты можешь поднять? – с почтением спросил Ипполит.

– Ого! – ответил силач Савицкий.

– А ну, подними!

Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом.

– Не подымеешь! – шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым.

Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал напрягаться у фикуса.

Вдруг произошло самое ужасное. Савицкий оторвался от фикуса и спиной налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра I, Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на мигмом притихших гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, кинулся головой вниз, как пловец в реку. Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

– Что же теперь будет, Воробьянинов? – спросил Савицкий.

– Это не я разбил, – быстро ответил Ипполит. Он покинул актовый зал вторым.

Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил нос в дыре.

Во время «греческого» в третий класс вошел директор Сизик. Сизик сделал «греку» знак оставаться на месте и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов.

– Гошпода, – заявил он, – кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале?

Класс молчал.

– Пожор! – рявкнул директор, обрызгивая слюною зубрил, сидящих на передних партах.

Зубрили преданно смотрели в глаза Сизика. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.

– Пожор! – повторил директор. – Имейте в виду, гошпода, что, ешли в чечение чаша виновный не шожнаеча, вещь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали страх.

Конец урока прошел в полном смятении. «Грека» никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.

– Сизик врет, – говорил Савицкий грустно, – пугает. Нельзя всех оставить на второй год. Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.

– А мы-то за что? – кричали зубрилы, преданно глядя на «грека».

– Ну, дети, дети, дети! – взывал «грек».

Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведенные до отчаяния зубрилы рыдали. Звонки, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.

Зубрила Мурзик прочел молитву после учения: «Благодарим Тебя, Создателю», – икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен за городской чертой.

Ипполит наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников на выдержку. Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился.

В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах. Ипполит вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чёртова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логикку», «Христианское нравоучение» и легкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы еще не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги.

Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперерыв проявляли дамы избранного общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским Аи по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах.

На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказки духан. Нормални кавказки удоволсти», познакомился с женой нового окружного прокурора – Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была:

Сама юность волнующая,

Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.

Секретарь суда грешил стишками.

«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна носила на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.

– Разришиты стаканчик шенпански! – сказал Ипполит Матвеевич, представляясь истинным горцем.

Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин.

Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:

– Бедные дети не забудут вашей щедрости.

Ипполит Матвеевич издала прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогулываясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.

С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.

На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжувати» – и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.

Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным: он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице.

Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, – ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минув оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядыва-

вая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой – розового и наглого Воробьянинова.

Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.

Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе.

– Кто горит, Михаила? – спросил Ипполит Матвеевич кучера.

– Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:

– Ваня! Дай-ка французскую лестницу.

Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.

– Так он и пять суток гореть будет, – гневно сказал Ипполит Матвеевич. – Тоже... Париж!

С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте триста рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.

Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Абрамовым и прошел с ним арию Жермона из «Травиаты» – «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадья порока, насмеялись надо мною вы жестоко», – баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души, баритон сорвал с Воробьянинова сто шестьдесят рублей и поскакал в Казань.

Скабрзные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека.

Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир*, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.

Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто по финансовой части.

Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это

после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию Мари белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.

– Ну, как твой скелетик? – нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.

Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.

– Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна... А теща, Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня «Эполет». Ей кажется, что так произносят в Париже! Замечательно!

С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гут морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтвое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.

От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами только два слова: «Накося выкуси».

После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Воробьянинова стали звать бонвиваном. Да он и в самом деле любил хороно пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:

– Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!

Вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником г. Шарабариным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.

Столы были расставлены полумесяцем. В центре на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками, лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин в коричневой визитке и котелке, клюнувший уже с утра и ослепленный магнией бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам, и слушал речи.

Ипполиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал:

– Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте вас поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень,

очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.

В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию Принца Датского.

Был 1913 год.

Французский авиатор Бранденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах, с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на перенесенное испытание, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку.

Жизнь была ключом.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны – ландышами. Началась первая приветственная речь:

– Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве...

После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:

Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.

Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых». Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.

Два молодых человека – двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Далматов – познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить.

В кинематографах, на морщинистых экранах, шла сильная драма в трех частях из русской жизни: «Княгиня Бутырская», хроника мировых событий «Эклер – журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона (гомерический хохот).

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший Манифест.

В старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас, —
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаши действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках катили в пролетках к Стрельбищенскому полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий.

На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли их на извозчиках в жандармское управление. В темном небе блистал, сокращался и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель.

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только тридцать восемь лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребенок во чреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много, на будущий год он замыслил новое путешествие за границу.

Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год, в мае, умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товарно-пассажирском поезде бежать куда глаза глядят.

Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь остендского взморья, кровли Парижа, темный лик и сиянье медных кнопок международного вагона, но не вообразил себе Ипполит Матвеевич (а если бы и вообразил, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного каганца, сыпнотифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело – и уходи» в канцелярии загса уездного города N.

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, сдуру запрятанный ею в гамбсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть, и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.

Глава VI. Великий комбинатор

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

– Дядя, – весело кричал он, – дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:

– Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию.

– О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра! – запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:

– Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.



Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишушую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.

К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.

– Сама меряет, – сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, – было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел, – в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской

**СССР, РСФСР
2-Й ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАРГУБСТРАХА**

молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.

– А что, отец, – спросил молодой человек, затянувшись, – невесты у вас в городе есть?

Старик дворник ничуть не удивился.

– Кому и кобыла невеста, – ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

– Больше вопросов не имею, – быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос: – В таком доме да без невест?

– наших невест, – возразил дворник, – давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня: старухи живут на полном пенсионе.

– Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?

– Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.

– А в этом доме что было до исторического материализма?

– Когда было?

– Да тогда, при старом режиме.

– А-а, при старом режиме барин мой жил.

– Буржуй?

– Сам ты буржуй! Сказано тебе – предводитель дворянства.

– Пролетарий, значит?

– Сам ты пролетарий! Сказано тебе – предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

– Вот что, дедушка, – молвил он, – неплохо бы вина выпить.

– Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

– Так я у тебя переночую, – говорил новый друг.

– По мне, хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворничью, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, – говорил он, – был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменял много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя пространство еще не написанной, но гениально задуманной картины: «Большевики пишут письмо Чемберлену»*, по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четырехста.

Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР*.

Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «Низкий сорт, нечистая работа». С картиной тоже не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина* в папахе и белой бурке, а т. Чичерина* – голым по пояс? В случае чего, можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то.

– Не будет того эффекта! – произнес Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома:

– Полицеймейстер ему честь отдавал... Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением – трешку дает... На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь... Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набезит... Медаль даже обещался мне представить. «Я, – говорит, – хочу, чтобы дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью...»

– Ну и что, дали?

– Ты погоди... «Мне, – говорит, – дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, – говорят, – в заграницу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, – говорит, – Тихон, жди, без медали не будешь».

– А твоего барина что, шлепнули? – неожиданно спросил Остап.

– Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть... А теперь медали за дворницкую службу дают?

– Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.

– Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

– Куда ж твой барин уехал?

– А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.

– А-а!.. Белой акации, цветы эмиграции... * Он, значит, эмигрант?

– Сам ты эмигрант!.. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали... Их хоть каждый день поздравляй – гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..

В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил.

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.

– Барин! – страстно замычал Тихон. – Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем.

– У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.

– Здравствуй, Тихон, – вынужден был сказать Ипполит Матвеевич. – Я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

– Отлично, – сказал он, кося глазом, – вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку.

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль.

Глядя на бумажку, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива.

Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся ко все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал:

– Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер! Может, слышали?

– Не слышал, – нервно ответил Ипполит Матвеевич.

– Ну да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме...

– Что за чепуха! – воскликнул Ипполит Матвеевич. – Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...

– Чудно, чудно! Из Моршанска.

Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо.

– Ну, знаете, я пойду, – сказал он.

– Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет.

Ипполит Матвеевич не нашелся что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.

– Я вас не понимаю, – сказал он упавшим голосом.

– Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.

Остап надел на голые ноги апельсиновые штиблеты, прошелся по комнате и начал:

– Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены – с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит – дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли,

пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре* сидит. Она ему передачу носит... А вы тоже через польскую границу переходили?

– Честное слово, – вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам, – честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов, я могу показать паспорт...

– При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков брильянтов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда – всему конец, а может быть, еще посадят.

– Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, – просительно сказал Ипполит Матвеевич, – могут и впрямь подумать, что я эмигрант.

– Вот! Вот! Это конгениально! Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

– Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант!

– А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?

– Ну, приехал из города N по делу.

– По какому делу?

– Ну, по личному делу.

– И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал...

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился.

– Хорошо, – сказал он, – я вам все объясню.

«В конце концов, без помощника трудно, – подумал Ипполит Матвеевич, – а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».

Глава VII. Брильянтовый дым

Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую кастровую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о брильянтах со слов умирающей тещи.

В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:

– Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся.

А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил:

– Три нитки жемчуга... Хорошо помню. Две по сорок бусин, а одна большая – в сто десять. Брильянтовый кулон... Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит, старинной работы...

Дальше пели кольца: не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми брильянтами; тяжелые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь; браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин; жемчужное кольцо, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной примадонне; венцом всему была сорокатысячная диадема.

Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.



Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа.

– Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?

– Тысяч семьдесят – семьдесят пять.

– Мгу... Теперь, значит, стоит полтора ста тысяч.

– Неужели так много? – обрадовано спросил Воробьянинов.

– Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

– Как – плюнуть?

– Слюной, – ответил Остап, – как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.

– Как же так?

– А вот как. Сколько было стульев?

– Дюжина. Гостиный гарнитур.

– Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.

Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.

– Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал выработать условия.

– В случае реализации клада я как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.

Ипполит Матвеевич посерел.

– Это грабеж среди бела дня.

– А сколько же вы думали мне предложить?

– Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей!

– Больше вы ничего не хотите?

– Н-нет.

– А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат?

– В таком случае простите, – сказал Воробьянинов в нос. – У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

– Ага! В таком случае, простите, – возразил великолепный Остап, – у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер*, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.

– Мошенник! – закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.

Остап был холоден.

– Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость.

Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.

– Двадцать процентов, – сказал он угрюмо.

– И мои харчи? – насмешливо спросил Остап.

– Двадцать пять.

– И ключ от квартиры?

– Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!

– К чему такая точность? Ну, так и быть – пятьдесят процентов. Половина – ваша, половина – моя.

Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов.

– Шестьдесят тысяч! – кричал Воробьянинов.

– Вы довольно пошлый человек, – возражал Бендер, – вы любите деньги больше, чем надо.

– А вы не любите денег?! – взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

– Не люблю.

– Зачем же вам шестьдесят тысяч?

– Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевел.

– Ну что, тронулся лед? – добивал Остап.

Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:

– Тронулся.

– Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинения и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции.

...В это время дворник Тихон пропивал в пивной «Фазис» рубль, чудесным образом попавший в его руку. Пять слепых гармонистов, тесно прижавшись друг к другу, сидели на крохотном деревянном островке, морщась от долетавших до них брызг пивного прибора.

Появлением барина и тремя бутылками пива дворник был растроган до глубины души. Все казалось ему превосходным: и барин, и пиво, и даже предостерегающий плакат: «Прозба непреличными словами не выражаться». Слово «не» давно уже было вырвано с мясом каким-то весельчаком. И эта особенность страшно смешила дворника Тихона. Дворник крутил головой и бормотал:

– Выдумали же, дьяволы!

Насмеявшись вдоволь, дворник Тихон взял последнюю свою бутылку и пошел к соседнему столику, за которым сидели совершенно ему незнакомые штатские молодые люди.

– А что, солдатики, – спросил Тихон, подсаживаясь, – верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут?

Молодые люди загоготали. Один из них спросил:

– Ты-то сам из помещиков будешь?

– Мы из дворников, – ответил Тихон, – а, буду говорить, помещик, положим, вернулся. И ему землю не дадут?

– Ну ясно, дура ты, не дадут.

Тихон очень удивился, допил пиво, опьянел еще больше и заболботал что-то несурзное про вернувшегося барина. Молодые люди насилу высадили его из-за своего столика.

– Барин, – бормотал Тихон, – медаль даст. Приехал мой барин.

– Ну и дурак же! – подытожили молодые люди. – Это чей дворник?

– Вдовьего дома. Бывшего воробьянинского.

– Вернется он сюда, как же! Ему и за границей неплохо.

– А может, вернулся – в спецы метит.

В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго при-
никая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье, было новолуние.

– А-а! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! – воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.

Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаза.

– Это конгениально! – сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу. – А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?

– М-можно, – сказал дворник неожиданно.

– Послушай, Тихон, – начал Ипполит Матвеевич, – не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик:

– «Бывывывали дни веселые...»

Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю ходиков, то становясь на одно колено. Ему было страшно весело.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

– Придется отложить опрос свидетелей до утра, – сказал Остап. – Будем спать.

Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью.

Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один – гарусный*, ярко-голубой.

– Жилет прямо на продажу, – завистливо сказал Бендер, – он мне как раз подойдет. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии.

Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену – восемь рублей.

– Деньги – после реализации нашего клада, – заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет.

– Нет, я так не могу, – сказал Ипполит Матвеевич, краснея. – Позвольте жилет обратно.

Деликатная натура Остапа возмутилась.

– Но ведь это же лавочничество! – закричал он. – Начинать полуторастотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!

Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал:

25/IV – 27 г.

Выдано т. Бендеру Р. – 8

Остап заглянул в книжечку.

– Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит – жилет. Сальдо в мою пользу – пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить.

После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники*, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье*, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.

Всем троим снились сны.

Воробьянинову привиделись сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый.

Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя.

А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности – подбирать «конские яблоки» и кричать на богаделок.

Глава VIII. Следы «Титаника»

Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением: отплеывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой.

Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза.

– Вы с ума сошли! – воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.

– Товарищ Бендер! – умоляюще зашептала жертва «Титаника».

Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: «Не могу!» – и снова бушевал.

– С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер, – сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами.

Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным.

– Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите!

– Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально-черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином... Контрабандный товар.

– Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон... И потом посмотрите. Вы читали это?

– Читал.

– А вот это – маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса... Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой «липой»?

Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.

– Выдайте рубль герою труда, – предложил Остап, – и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем... Подожди, отец, не уходи, дельце есть.

Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали всё. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома соц-обеса.

– Так он что, здесь в доме?

– Здесь и стоит.

– А скажи, дружок, – замирая, спросил Воробьянинов, – когда стул был у тебя, ты его... не чинил?

– Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять.

– Ну иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал.

– Могила, гражданин Воробьянинов.

Услав дворника и прокричав: «Лед тронулся!», Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича:

– Придется красить снова. Давайте деньги – пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к чёрту не годится, только собак красить... Вот в старое время была красочка!.. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Так вот... Был такой знаменитый комбинатор, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша! И вот когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за пятьдесят рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец Маклер с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел Мак-Магона. Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает, что все орловцы начинают менять масть, один только Маклер, как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то что ваши усы!..

– Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат?

– Такой же, как этикетка на вашем «Титанике», фальшивый! Давайте деньги на краску.

Остап вернулся с новой микстурой.

– «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак!

Начался обряд перекраски. Но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра.

Ничего еще не евший с утра, Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе, на Малой Арнаутской улице.

– Таких усов, должно быть, нет даже у Аристиды Бриана*, – бодро заметил Остап, – но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить.

– Я не могу, – скорбно ответил Ипполит Матвеевич, – это невозможно.

– Что, усы дороги вам как память?

– Не могу, – повторил Воробьянинов, понуря голову.

– Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.

– Брейте!

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву «Жиллет», а из бумажника – запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

– Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:

– Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!

– За конспирацию, товарищ фельдмаршал, – быстро ответил Бендер.

Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции.

Но конец, который бывает всему, пришел.

– Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.

– Ну, марш вперед, труба зовет! – закричал Остап. – Я – по следам в жилотдел или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы – к старухам!

– Я не могу, – сказал Ипполит Матвеевич, – мне очень тяжело будет войти в собственный дом.

– Ах да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно. Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт – в дворницкой. Парад – алле!

Глава IX. Голубой воришка

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его – Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.

Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», – думал Остап, поднимаясь наверх.

В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из найдешевейшего туалъденора* мышиноного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели:

Слышен звон бубенцов издалёка —
Это тройки знакомый разбег...
А вдали простирался широко-о-ко
Белым саваном искристый снег!..*

Предводитель хора, в серой толстовке из того же туалъденора и в туалъденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:

– Дисканты, тише! Кокушкина, слабее!

Он увидел Остапа, но, не в силах удержать движения своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:

Та-та-та, та-та-та, та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рум...

– Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? – вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.

– А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

– Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.

Завхоз застыдился.

– Да, да, – сказал он, конфузясь, – это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

– Вам нечего беспокоиться, – великодушно заявил Остап, – я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.

– Пожалуйте за мной, – пригласил завхоз.

Прежде чем пройти дальше, Остап устался на мебель первой комнаты. В комнате стояли: стол, две садовые скамейки на железных ногах (на спинке одной из них было глубоко вырезано имя «Коля») и рыжая фисгармония.

– В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?

– Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный...

Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запыхал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простирались от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туалъденора мышиноного цвета:

«ДУХОВОЙ ОРКЕСТР – ПУТЬ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ТВОРЧЕСТВУ»

– Очень хорошо, – сказал Остап, – комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.

Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому № 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.

Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски были безуспешны. Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, усталые ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «Ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.

Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских субботников, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «Ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно – это были дверные пружины.

Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкций таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами.

За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось – стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:

– Это что, на машинном масле?

– Ей-богу, на чистом сливочном! – сказал Альхен, краснея до слёз. – Мы на ферме покупаем.

Ему было очень стыдно.

– Впрочем, это пожарной опасности не представляет, – заметил Остап.

В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туалъденора.

– Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?

Застенчивый Альхен потупился еще больше.

– Кредитов отпускают в недостаточном количестве.

Он был противен самому себе.

Остап сомнительно посмотрел на него и сказал:

– К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится.

Альхен испугался.

– Против пожара, – заявил он, – у нас все меры приняты. Есть даже пеногон-огнетушитель «Эклер».

Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.

– На толкучке купунали?

И, не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича, снял «Эклер» со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе».

– Конечно, на толкучке, – подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место.

Провожаемые шипением, они пошли дальше.

«Где он может быть? – думал Остап. – Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать туалъденорового чертога до тех пор, пока не узнает всё.

За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, 2-й дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью.

Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие:

«ПИЩА – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»

«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2
ФУНТА МЯСА»

«ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ
ОБЩЕСТВУ»

«МЯСО – ВРЕДНО»

Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.

Хуже всех приходилось старухе Кокушкиной, которая сидела против большого, хорошо иллюминированного акварелью чертежа коровы. Чертеж этот был пожертвован ОННОБом (Обществом новой научной организации быта). Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, с тою только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены уборными, кухнями, коридорами и черными лестницами, на плане коровы фигурировали под названием: филе, ссек, край, 1, 2 и 3-й сорта.

Кокушкина ела свою кашу не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебои сердца. Во 2-м доме собеса мясо к обеду не подавали.

Кроме старух за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был тридцатидвухлетний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туалетенор, но, благодаря молодости и силе, они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.

Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого.

Обед продолжался. Старушки загомонили:

– Сейчас нажрут, станут песни орать!

– А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику.

– Посмотрите, пьяный сегодня придет...

В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя, и коровий голос начал:

«...бретение...»

Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия.

Но громкоговоритель бодро продолжал:

«Евокррраххх видусоб... ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, – Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, – Сокуцкий...»

Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу:

«...изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено доризулом*, – Дарья, Онега, Раймонд...»

Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:

«А теперь прослушайте новгородские частушки...»

Далеко-далеко, в самом центре Земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини* запел:

На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели —
Сразу окочурились...

В центре Земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.

Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:

– Такую капусту грешно есть помимо водки.

– Новая партия старушек? – спросил Остап.

– Это сироты, – ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

– Дети Поволжья*?

Альхен замялся.

– Тяжелое наследие царского режима?

Альхен развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.

– Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу?

Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.

В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.

– Сашхен, – сказал Александр Яковлевич, – познакомься с товарищем из губпожара.

Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен – рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами.

– Пью за ваше коммунальное хозяйство! – воскликнул Остап.

Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.

– Отчего, – спросил он, – в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?

– Как же, – заволновался Альхен, – а фисгармония?

– Знаю, знаю, вокс гуманум*. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки.

– В красном уголке есть стул, – обиделся Альхен, – английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался.

– А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть.

– Милости просим.

Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся.

В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхена, не было. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фис-

гармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, перематывал чайные жестяные кружки и бормотал:

– Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже.

– Грустно, девицы, – ледяным голосом сказал Остап.

– Это просто смешно! – нагло повторял Паша Эмильевич.

Но тут певший все время пеногон-огнетушитель «Эклер» взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туалетного колпак. За первой струей пеногон-огнетушитель выпустил вторую струю туалетного цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа «Эклера» стала бесперебойной.

К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи.

– Чистая работа! – сказал Остап. – Идиотская выдумка!

Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии:

– Брательников в доме поселил. Обжираются.

– Поросят молоком кормит, а нам кашу сует.

– Все из дому повыносил.

– Спокойно, девицы, – сказал Остап, отступая, – это к вам из инспекции труда придут.

Меня сенат не уполномочил.

Старухи не слушали.

– А Пашка-то Мелентьевич – этот стул он сегодня унес и продал. Сама видела.

– Кому? – закричал Остап.

– Продал – и всё. Мое одеяло продать хотел.

В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и пеногон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда.

Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу.

– Один мой знакомый, – сказал Остап веско, – тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи – сидит в допре.

– Мне ваши беспочвенные обвинения странны, – заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струй.

– Ты кому продал стул? – спросил Остап позванивающим шепотом.

Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть даже ногами.

– Перекупщику, – ответил он.

– Адрес?

– Я его первый раз в жизни видел.

– Первый раз в жизни?

– Ей-богу.

– Набил бы я тебе рыло, – мечтательно сообщил Остап, – только Заратустра* не позволяет. Ну, пошел к чёртовой матери!

Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить.

– Ну ты, жертва аборта, – высокомерно сказал Остап, – отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин, брюнет?

Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:

– Это, безусловно, к пожарной охране не относится.

В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.

– Это сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса, – сказал Остап, – дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом.

– Удар состоялся, – сказал Остап, потирая ушибленное место, – заседание продолжается!

Глава X. Где ваши локоны?

В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города.

По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш брильянтовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинающуюся у магазина Старгико* и тянущуюся вплоть до здания губплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, «победами» и кобрами.

Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара – в уездном городе N. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было.

Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распутившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые – серыми, с каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу.

На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к Первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым.

В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла* и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла фронт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках.

Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся – и сразу узнал свой стул.

Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо.

– Точить ножи, ножницы, бритвы править! – закричал вблизи баритональный бас.

И сейчас же донеслось тонкое эхо:

– Пяять, пачинять!..

– Московская гайзета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная нива»!..

Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстря. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего.

Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.